

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ

НЕПРОЧНОЕ НЕБО

Стихи 2001–2008 года



Санкт-Петербург
2009

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Н63

*Автор выражает благодарность всем,
кто принял участие в издании этой книги*

Николаев С. А.

Н63 Непрочное небо : стихи 2001–2008 годов / Сергей Николаев. — СПб. : Реноме, 2009. — 96 с.

ISBN 978-5-904045-48-7

Поэзия Сергея Николаева, обращенная к обыденной жизни современного ему городского человека, направлена вместе с тем к глубоким, философским обобщениям. Поэт пишет о смысле человеческого существования, подлинности и фальши наших устремлений, реальности и иллюзорности ценностей жизни. Настоящее издание осуществлено при поддержке друзей и заинтересованных читателей автора.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

В оформлении обложки использована картина
А. Дашевского «Pulkovskie highs № 24»

*Мы понимали, что смерть
нисколько не хуже, чем жизнь,
и не боялись ни той, ни другой.
Великое равнодушие
владело нами.*

В. Шаламов.
Колымские рассказы

ISBN 978-5-904045-48-7

© Сергей Николаев, 2009
© Реноме, 2009

ТОЛЬКО МУЗЫКА

Как набросок беглый редактируешь долго-долго,
так и дворником нужно работать годами, чтобы
ощутить возможную грозную близость Бога, —
ты очистил землю от мусора, пыли, злобы,
от своей гордыни. И значит, на мир без боли
ты спокойно смотришь: мир не хорош, но дворник
может всё изменить — на лёд набросает соли,
на скамейке оставит бомжу заводной джин-тоник,
деревянной лопатой снежные сложит кучи,
вытрет потную шею и скажет себе: «Ну что же,
ты, как мог, потрудился». Мчатся по небу тучи,
опирается крепко на обе ноги прохожий.

* * *

Что-нибудь о любви, о любви
и о смерти — о чём же ещё?
А в четвёртой строке назови
Божье имя. Скажи горячо
о любви — «умирает нежна»
и о смерти — «приходит легка».
Над рекой тишина, тишина.
Над землёй облака, облака.
А ещё удивительный свет
предзакатного солнца как весть
небывалая: «Господи, нет
ничего, что без Господа есть».

* * *

На медлительном узком пароме
в залетейской исчезнем дали.
Только музыка! Музыки кроме,
во дворе, где точильщик Али,
восемь чёрных потёртых покрышек,
чахлых тополя, может быть, три —
в дочки-матери, в кошек и мышек
здесь играют. Вечерней зари
зажигаются краски. Машины
умолкают, и с неба звезда
тихо катится вниз... Половины
мы не знаем — откуда, куда?
Но любуемся около дома
на игру: «Шишел-мышел! Води!»
Мальчик Саша и девочка Тома,
и горячая нежность в груди.

* * *

Ты спросишь, друг, меня,
как жить на этом свете?
Не парься, старина!..
Валяется в кювете
каркас — металлолом,
а был, возможно, «опель».
Не знаю, что потом
с владельцем стало. Тополь
пророс через каркас,
шумит на солнцепёке.
И выбора у нас,
быть может, нет. Но щёки
малыш надул и лёг
в коляске из винила,
прелестный дурачок —
Иванушка-водила.
Пускает пузыри,
во рту мусолит соску..
Мы, что ни говори,
свои на свете — в доску.

* * *

Платформа «Ленинский проспект» —
садишься в электричку.
Там подозрительный субъект
бульварную клубничку

распродаёт по пятьдесят,
и едет без опаски
рабочий дремлющий десант
на дачные участки.

А ты сидишь, дурак, изгой,
читаешь Пастернака.
Нет, ты — не Пушкин, ты — другой.
Но кто-то пнул, однако,

твой тощий, синий рюкзачок.
Смотри, почти Рамсеса
ровесник — бойкий старичок:
— Как барин, ишь, расселся!

В тисках зажатый, как строка,
сопишь: «...без проволочек
И тает, тает ночь, пока
Над спящим миром лётчик...»

* * *

В слезах выбегает хозяйка во двор —
был крупный, как хлопья с небес, разговор.
Кричали неистово, били посуду,
но вот (что похоже, быть может, на чудо)
утихло всё это само по себе!
На пятом играет сосед на трубе.
И падает белый, обманчивый, тихий,
волнующий снег, как случайный пиррихий
на слово, которое было в конце.
Потёкшую тушь на усталом лице
хозяйка утёрла и слушает джаз:
«Alas, my baby, alas...».

* * *

Гостиный Двор. Бездушная
толпа. Огни! Огни!..
Голодный и простуженный
с фингалом голубым,

в китайской куртке кожаной,
пошитой кое-как,
я шёл вчера по Невскому,
не дворник, не поэт,

не гражданин ответственный
и не товарищ вам,
а просто Некто пишуший
какие-то стихи.

* * *

Живёшь — не думаешь о смерти,
торгуешь разным барахлом.
Но день приходит и в конверте
повестка «сборы». Всё — облом!

Наутро поезд. Проводница
ещё заигрывает: — Эй,
иди сюда! Чего не спится?..
Марина Стогова... — Сергей...

А за окном мелькают сопки.
Уже до Мурманска рукой
подать. Налили по две стопки,
поём: «Нарушил мой покой...».

Назавтра выдадут хэбэшку,
в столовку строем поведут.
И жизнь, и смерть — всё вперемешку.
Ты здесь никто и будешь тут

всегда солдатом. Вспомнишь только
Марины Стоговой духи,
как в темноте качалась полка,
читались лучшие стихи.

* * *

Били автоматами большими,
в рот ему наторкали земли,
в белую больницу на машине
с красными крестами привезли.

Ноги ампутировали — плачет,
в жар его бросает и знобит.

Он живой, живой пока, а значит,
думает и видит: белый бинт
под простынкой сморщился линиялой.

Медсестра ночная подойдёт
и поможет справиться всё по малой,
повернёт обрубок на живот.

«Не грусти, — обрадует, — солдатик!
Будут девки сладко целовать...» —

запахнёт расстёгнутый халатик,
сядет рядом тихо на кровать.
«Ну, — она подумает, — любому

можно дать, но этому...» — и три
кубика больному рядовому
вкатит: — Ты, давай-ка, не умри!..

* * *

На улицах тесно в канун Рождества
и много свободы.

Сегодня с утра положив неспроста
в рюкзак бутерброды,

я тоже в толпе неизвестно куда
спешу по Дворцовой —
чернеет в Неве ледяная вода
и мусор портовый.

Всё кончится: Летний заснеженный сад,
туман и простуда.
Идёт не по форме одетый солдат —
свершается чудо!

* * *

«Тридцать лет ни дома, ни работы», —
нашептали яростные звёзды!
Ну, не плачь! Не надо! Что ты? Что ты?
Это всё лишь только эпизоды
бытия Всевидящего Бога
Вечного... Так вот какое дело,
поживи пока ещё немного,
подыши: шу-шу... В Период Мела
трудно надыхаться динозавру —
остаются высохшие кости!
Было вот что: Цезаря, Варраву
и Матфея приглашали в гости.
Никакая это не награда!
Лишь глаза, расширенные страхом.
Тридцать лет страданий — всё что надо,
чтобы стать пророком или прахом!

* * *

Не сделали стихи меня счастливым!
Лет двадцать я пишу — и для чего же?
Венгерке удивляясь (синим сливам),
той девушке, которая — о Боже —
стеснялась, но графиню, парижанку
изобразив, смеялась беспрестанно
и опускала косточки в жестянку,
той девушке, что пристально с дивана
следя за мной на солнечной веранде,
как шоколадный сон, загаром Юга
была, о да, почти Индира Ганди.
И пыльный жаркий луч лежал упруго
на коврике с причудливым узором.
А что стихи? Небрежно скинув платье,
она смотрела с ласковым укором.
О, это было счастье, счастье, счастье!..

* * *

Я забыл застегнуть молнию на...
джинсах и выбежал из квартиры.
Такого любишь ты? На хрена?
В карманах ветер свистит сквозь дыры.

В рюкзаке лежит томик Эдгара По.
В голове вообще рифмы пляшут.
Берегись меня! Я — никто!
На мне ночью черти кривые пашут!

* * *

По карточке войти в бездонный интернет
и в чате до утра зависнуть без ответа.

Что если здесь меня на самом деле нет!?
Лишь монитор прольёт совсем немного света.
Что если я — лишь сон нелепейший такой:

«Все небеса поют о виноградных звёздах,
но ни одну из них нельзя достать рукой, —
стены прочнее тот горячий, пыльный воздух...»

Немного болтовни о разных пустяках
и почта — дребедень из глупостей и спама.
Машины под окном заходятся в гудках.
Зелёные горят огни универсама.

* * *

Как фантик, летает душа
по скверику жизни печальной —
всё ищет покой изначальный,
порядок, но нет ни шиша!

А вечером кофе, тоска.
Проклятый гудит зомбоящик —
там кажут прекрасный образчик
распада... и вдруг у виска

повеяло чем-то иным,
бесценным таким, что по краю
салфетки ложится: «Сгораю
от счастья! Всё прочее — дым!..»

* * *

В кафе под музыку безумную,
нет, под безумную музы́ку,
сидел и думал: «Эту струнную
я уподоблю только крику».
А жизнь, с искусством в соответствии,
рвалась в окно громоподобная —
две стройных (все в заклёпках) бестии
у фонаря ругались, пробуя
из банок синих пиво «Невское».
На этих лицах обескровленных
то выражение недетское
меня смущало, что в разгромленных
войсками сёлах лишь встречается.
О, эти битвы виртуальные:
сталь, как и прежде, закаляется,
крепчают склоки коммунальные!

* * *

За двенадцать рублей винегретом
угостит без татарских затей,
просквозит меня северным ветром,
проберёт сквозняком до костей,
на Московском вокзале отыщет
среди сотен таких же бродяг
и нашепчет — на ухо насвищет:

«Уезжаешь?.. Ну, мать твою так!..
Быть уродом тебе — чикатилой!»

Эта родина всюду с тобой:
в электричке, во сне, за могилой —
в поднебесной стране голубой.

* * *

Над чёрными доками серый проносится дым,
и серая чайка кричит над свинцовой водой.
Сошёл я с трамвая последнего ночью... тыг-дым-
-тыг-дым... в Петербурге под самой холодной звездой,

под самой красивой буксир закричал, ослеплён
огнями цветными у вздыбленной арки моста.
Сегодня с повесткой опять приходил почтальон
и жить предлагал с абсолютно другого листа.

Но жить это значит: в атаку — навстречу свинцу!
И вот караваном идут по Неве корабли,
где ветер, как бритва, опять полоснул по лицу.
«Нахимов» сигналил — «Крылов» отвечает вдали.

* * *

Памятник. Ужас парящий. Простёрта над площадью
кепка в руке и воркуют на лысине голуби.
Господи! Господи!.. Словно слепой, только ощупью
пересеку эту площадь: to be или not to be —
хлеб и вино или клейстер вонючий и отруби?..

Серые тени становятся всё незначительней:

только подростки теперь, убежав от мучителей,
бросив уроки, одни возле монстра тусуются,
фишки жуют, и смеются, и «Клинское» медленно
тянут из банок, дымят сигаретами. Улица.
Площадь и памятник. Сыро, прохладно и ветрено.

* * *

Крыши, антенны. А голуби сели на водосток
сизые перья почистить. Напротив сушить пальто
кто-то над газом повесил — цветёт голубой цветок.
Кто там живёт? Карамазов? Версилов-маньяк? Никто!

В этой квартире я сам оказался бог знает как:
в отпуск хозяин уехал, оставил — пожить — ключи.
Пыльный диван и книги (хозяин, видать, чужак),
двор петербургский — колодец (придётся — кричи).

Как в этом городе жить? Я, признаюсь, не знаю сам!
В полночь шаги раздавались по гулкому чердаку.
Я в рюкзаке сто рублей обнаружил — в универсам
завтра схожу, а сегодня с батоном поплю чайку!

Может, в окне, что напротив, мне улыбнётся... Кто?
Пьяница? Девушка Соня? Раскольников Родион?
Скоро стемнеет, и выключат газ, уберут пальто...
Где-то в квартире играет аккордеон...

* * *

В подземном переходе скрипка
рыдает так,
как будто всё кругом ошибка —
весь этот мрак:

газеты, стены, пассажиры —
бегут, несут —
у них отличные квартиры,
в кастрюлях суп.

А скрипка вторит: «Пиу-пиу!
Нишкни, замри!»
Не ударяй, дружок, по пиву
в лучах зари.

* * *

Нехитрые пожитки: полукеды
истлевшие, кувшин с отбитой ручкой,
служивший со времён ещё Победы,
и ложки мельхиоровые кучкой —
всё это разложила на газете
старуха возле книжного киоска.
А с белой головы холодный ветер
платок срывает грубо, злобно, жёстко.
Но сгрудившийся лёд застыл во взгляде
старухи (взгляд такой случайно встретить
едва ли хватит сил, а в Ленинграде
блокадном, может быть, она и смерти
не очень-то боялась)... Но лавина
прохожих, человеческая накипь,
стремится мимо, мимо, мимо, мимо
в компьютерный стеклянный супермаркет.

* * *

Выхожу один я из подъезда.
В доме телевизоры кричат.
Звуки поглощающая бездна.
Лезвие фонарного луча
отразилось в лужах у помойки.
Засмеялись пьяные во тьме
дети жутковатой Перестройки.
Почему не спят они? Но мне
всё известно, кажется, про это:
всё, что скрыто, скрыто в голове
навсегда. Иду. Не надо света.
Шарит мышь в загаженной траве.
Выпив инвалидные таблетки,
на пруду разводит синий спирт
рыболов хромой на табуретке.
Ни одна звезда не говорит.

* * *

Крепкий рюкзак мой потёртый, зелёный,
латаный, словно бы финский швертбот,
плотно пристроен на полке вагонной.
Скрипнув, (...кроссворды, стакан, бутерброд)
столик поплыл. Но загадочный, странный,
необъяснимый какой-то, живой,
мир неудобный, изломанный, рваный,
может, кончается там, под Москвой,
там, может быть, пустота за Тамбовом —
занавес вьюги в окне невесом,
но не полезет в карманы за словом
хитрый попутчик с кавказским лицом:
— Ну, за знакомство!.. — Серёга... — Василий...
— Водочки?.. — Эх!.. — До чего хороша!..
Чай заварили. Лаваш поделили.
Мимо цыганка с платками прошла.

* * *

Бледное, серое небо китайской провинции,
станция то ли Рязань, то ли Мичуринск, то ли
просто Кашира. Два лейтенанта милиции,
бабки с кошёлками — пиво, огурчики соли
неслабой, картошка и вобла... мороз обжигающий,
словно удар ниже пояса. Сонная блядь-проводница
топит титан, и тоска не звериная — та ещё,
домезозойская. Тронется поезд и мнится,
что за окном не склады, не заводов развалины,
а пейзаж незнакомой планеты, где сам ты
бог знает как оказался. На лбу проступают испарины
мелкие капли, и по трансляции лупят куранты.

* * *

Всю ночь составы спешат по рельсам
из прикаспийской речной глуши.
На юг — вагоны с российским лесом.
На север — спички, карандаши,

в бутылках пойло и в дутых банках
отрава, с горькой мукой мешки.
Темно и страшно на полустанках.
В киосках жжёные пирожки.

Разруха... Мчится товарный поезд
по астраханской седой степи.
Мороз. Позёмка. И Млечный пояс
пересекает стрелу пути.

* * *

Коричневая пустыня до горизонта.
Город, где кошки на улице круглый год.
Запах рыбы на рынке, мобильная связь для понта
и язык татарский — чёрт его разберёт!

Здесь, где Азия к автобусной остановке
подступает, словно длинная к сердцу тень,
здесь край света — спроси у любой торговки!
Супермаркет построили из бетона, а между тем

бесконечное неолитическое пространство
бросается уходящему поезду наперерез:
Астрахань, Ашулук, Баскунчак... Контраста
не заметишь: степь, и в степи человек исчез.

* * *

Невыносимо жаркий август
арбузно-дынный входит в мозг.
Мы выбираем лучший ракурс:
жених на «опеле», киоск
голубовато-серый с пыльным
стеклом и надписью «С...юз...чать»,
невеста в платье с кринолином.
И «горько» хочется кричать
гостям под зорким объективом
у Астраханского кремля.
А дальше всё, как в том красивом
журнале глянцево... ля-ля...
Въезжают в дом молодожёны;
— А помнишь, как... — А ты... — А я...
И вот картошкой пережжённой
садится ужинать семья.

* * *

Зимний дождь.
Тополя. И напрасно
стая мокрых собак по двору
бродит в поисках тухлого мяса.
Хоть куда-нибудь... может, в Перу
в серебристом бежать самолёте
от татарских угрюмых степей,
от бесед о тоске и дефолте,
и не вовремя теплосетей
протекающих. Коля с отвёрткой,
матеря стояки, говорит:
«Если ты не рассчитаешься водкой,
то сойдёт и технический спирт!»
Ну и что ему с этой награды,
не пойму. Только смерть. Пустота.
Пахнет кошками лестница. Рады
все жильцы, что не хуже креста
нынче ночь аварийной хрущёвки:
тусклой лампочки свет, сквозняки,
бельевой провисанье верёвки...
Гаснут окна. Смолкают звонки.
Там, за шторой, я вижу просветы,
где среди темноты и огня
мчатся в безднах живые планеты.
Боже мой, не оставь и меня!

* * *

Зарезали соседа у подъезда.
Он был хороший парень и непьющий.
Когда нашли, на нём в крови одежда
вся-вся была. А если всё же души
потом переселяются, то скоро
в хрущёвку нашу снова он вернётся.
И пусть его никто в разгаре спора
в живот отвёрткой... Только мне придётся
ждать, ждать и ждать. И смерть ужасна болью,
тем более нелепая такая.
Он тихо жил в пропахшей канифолью
квартире, на компьютере играя,
но мне сказал на лестничной площадке,
что френдов нет. И понял я по тону,
как он несчастен. «Всё проходит!» — шаткий
мой аргумент его совсем не тронул.
Но так и вышло. Гроб выносят в тяжкой,
гнетущей тишине. Лицо закрыто.
Его соседи называли Пашкой.
— Пойдём, Серёга, выпьем, что ли, спирта!..

* * *

Обыкновенный пьяница из ЖЭКа,
сантехник Алексей, не злой, не добрый.
Он в будний день похож на человека,
а два стакана выпьет — всё, приборы
откажут, и пойдёт громить начальство:
«Воруют, гады! Всех бы изничтожил!»
Так зарычит, и вдруг добавит: «Баста,
бросаю пить!» Нет, каждый раз, похоже,
не шутит он. Но праздник бесконечный
вся эта жизнь. А если присмотреться,
то состоит из маленьких увечий
больной души. Как сильно ноет сердце!
Как хочется забыть про Алексея,
про ЖЭК его, про шабаш этот зверский!
Смотрю в окно — чудная там Рассея.
Плотнее задвигаю занавески.

* * *

На пустыре кривое деревце,
на капитально перерытом,
в ячейках сот бетонных теплится
старуха-жизнь с полиартритом.
Там спорят, пьют с утра арабику,
читают жёлтые газеты
и моют лестницу по графику,
но верят (Господи, ну где ты?..),
что во дворе любовь небесная —
её рассыпанные крошки.
А мимо блядь проходит местная,
скрипят её полусапожки,
ресницы длинные накрашены.
За ней «феррари» новомодный
с людьми конкретными и страшными
летит по улице Народной.

* * *

Пускай правители и мытари
всё объяснят!.. В бетонных нишах
бомжи небритые, невытые,
в каких-то тряпках полусгнивших
костёр палят у сытной мусорки,
отрыли палку сервелата.
Из окон дома грохот «музыки».
— Эй ты, облезлый Терминатор,
не хапай всё!.. Два грязных ангела
гнильцу доели и разлили
в жестянки водку. Даль заплакала,
дождём омыв автомобили.

* * *

Вокзал. Киоски. Пыль. И пыль. И пыль.
Старухи продают пучки укропа.
Здесь Азии задворки — не Европа!
Японский промелькнёт автомобиль,

и вновь идёт всё, как заведено:
ждут, курят Lucky Strike, едят хот-доги,
шагают строем липы вдоль дороги...
В кустах разлили ухари вино:

— Ну, за здоровье! Вздрогнули! Хуяк...
Куда идти? О чём просить кого-то?
Всё кончено! Отличная работа —
Россия спит. Навек. Да будет так!

* * *

Деревянный, купеческий, хулиганский,
азиатский, бедовый в душе, цыганский,
этот город похож на бомжа и на
рыбный ряд, где вобла лежит сухая:

— Эй, торговец, какая твоя цена?
— Э-э-э, хорошая!
— Нет, плохая!
— Полосатые, с мякотью алой, надо
взять арбузов спелых тугие ядра...

Солнце бьёт по глазам беспощадно, хлётко.
Стен Кремля шербатый кирпич, извётка.

Старики говорят: «Ничего не трогай!»
Оседает кругом вековая пыль.
Плачет, плачет над мутной, неспешной Волгой
одинокая чайка: «Итиль-итиль!»...

В магазине селёдка, крупа, корица.
В ход китайские быстро идут ножи.
Клянчат дети таджикские: «Поможи!»
Только изредка поезд в Баку промчитя.

* * *

Рвался ветер сквозь большие щели
в небесах истерзанной отчизны.
Плакали берёзы. Люди пели
у костра о жизни всё, о жизни.

Утром разошлись, как не встречались.
Всё казалось им, что счастья мало.
И звезда красивая Антарес
в предрассветном небе догорала,

догорала. Таяли в тумане
города, перроны дальних станций.
В Библии написано, в Коране:
«Возлюбите в грязном оборванце

своего Спасителя!» И люди
повторяли роковое имя
родины. А счастье... счастье будет!
«Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...»

* * *

Что своего припомнится: картофель?
Хлеб «Арнаутский», водка или воздух?
Конфеты «Мишка», азиатский профиль?
Гадание вечернее на звёздах?
Всё это наше. Бросишься в китайский
непрочный быт — по «ящичку» кошмары,
и слёзы, и стенания, и ласки...
А здесь, на кухне, наши тары-бары
про Пушкина, про репу, про искусство,
про жилконторы страшные поборы.
Какое-то мучительное чувство
своё! Свои бесхозные просторы!..

* * *

Я тесные люблю и неудобные
вагончики зелёные, плацкартные,
где за окном проносятся безлюдные
российские равнины благодатные.

Пусть грязно, тяжело и оскорбительно
для чувства эстетического нежного,
зато чаёк заварен восхитительно
на фоне леса снежного, безбрежного.

А тут как раз картошка и огурчики,
что взяли мы в Мичуринске на станции.
Серьёзный разговор теперь попутчики
затеют о судьбе пропащей нации.

Мол, что ещё теперь у нас имеется
на этом вот пути исконно совестном,
пока во тьме позёмка злая стелется
за уходящим в будущее поездом?

* * *

Поезд кого-то везёт на юг,
северный ветер летит вперёд.
Рядом проходит полярный круг —
тихой заботой любой живёт.

Рыбы поймать, наколоть дрова,
сладкой морошки набрать ведро.
Ходят медведи вокруг двора.
Месяца два на дворе тепло.

В серых бараках рожают, спят.
Снег раскидают: «Привет, сосед!»
Рысь пронесила вчера котят —
за огородами чёткий след.

Ни телевизора, ни врача
в этих местах, и тоска берёт
прямо за глотку. С горла хлещет,
поезд идёт, не сбавляя ход.

* * *

Тишина... Я, как дворники в садике,
в старых кедах, в замызганном ватнике,
сам из этих, из лишних, непрошенных,
сам, как ящер какой-нибудь древний,
прохожу по безлюдной деревне.
В заколоченных окнах заброшенных
еле теплятся в сумраке запахи
влажной плесени... — Кто-нибудь! Леший
вас возьми!.. Дождь такой, что хоть вешай
над колодцем, над лужами затхлыми
фантастический купол зловещий.
Подберёзовики, подосиновики
всюду здесь вдоль гниющих сараев.
Говорю я себе: «Николаев,
ты дошёл уже, видно, до клиники!»
Подберёзовики, подосиновики...

* * *

Не янтарный мёд, но травы
горькие невыносимо.
Что подаришь? Может, славы
бубенец? А может, сына?
Впрочем, все твои подарки
мне давно уже известны:
ночь, полчайника заварки,
музы голос неуместный,
заунывный, словно выюги
за окном кружение. Лампа
раскалилась. Ни подруги,
ни собаки. Я и сам-то
не к добру седой, усталый
(перебравший водки сильно), —
не янтарный мёд, но травы
горькие невыносимо.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА

* * *

Не сердиться, корвалол принимать, за детей бояться,
переваривать ложь, вечерами о главном думать.
Вот однажды дождёмся смертного бессмертного часа —
никакого волнения, суеты, никакого шума.

А пока головные боли, тяжесть в ногах, усталость,
а пока лишь осень, обещания включить отопление,
и цветы на окне завяли — какая жалость,
и вообще, понедельник,
и где оно, блаженное воскресенье?

Впрочем, все мы будем счастливы очень скоро,
скоро с моря прилетит ветер, забросает снегом
фонари, деревья, площади, город...
Неужели нельзя быть просто хорошим человеком?

У моста решето арматуры.
В ослепительно синем просторе
воздух свеж возле Парка культуры.
Ты такая красивая! Горе:

мне два раза твои девятнадцать.
Уравнение из неизвестных:
X плюс Y равняется... Сбачать
что-нибудь о счастливых невестах:

обнадёжила запахом тмина
(уси-пуси, дружок, шуры-муры),
мяты, брынзы, грозы, мандарина!
Поцелуем у Парка культуры!

* * *

Ах, какой был июль!.. Ах, какие гуляли
загорелые, словно сбежали с Ямайки,
в джинсовне молодые, весёлые крали
и сбивались в шумливые, тесные стайки!

Мимо я проходил, вместо них замечая
стены в трещинах, фикус, окошко с гардиной,
за гардиной графин и коробочку чая,
проходил я, как нищий на ярмарке дивной,
расставаясь, как с вредной привычкой, с последней
(все они мне казались последними) хрупкой,
восхитительной женщиной. Помню, медведей
обожала игрушечных, кожаной курткой
укрывалась моей. Говорила: — Волнует
запах твой! А вот если бы я изменила?..
— А зачем изменять?.. Помню я поцелуи —
этот привкус черешни с кислинкой кизила...

Я свернул в подворотню и вышел к Марата,
размышляя о непрозвучавшем ответе.
Там сидела старуха с пучками салата —
с поседевших волос рвал косыночку ветер.

* * *

Лицо прекрасное, но, может быть, от боли
слегка усталое, в трагических у глаз
морщинках маленьких. Я спрашиваю: — Оля,
о чём ты думаешь?.. — Я?.. Видишь ли, как раз
о нас двоих... Иду, охваченный мгновенной
счастливой музыкой: «Откройся, мой Сезам!..»
Листва обрызгнута лимоном и мареной.
Огни зажжёт полупустой универсам.
— Ах, видишь ли, со мной сегодня, Оля,
творится странное... — Да, знаешь, и со мной!..
Морщинка дрогнула от нежности, от боли,
от неизбежности и тяжести земной.

* * *

Усмехнулся тополю, всхлипнул, пробежал
по лужам, по дорожкам, по крыше гаража...

Всё промокло: волосы, платье на тебе,
но поёт в наушниках песенку БГ:
«Есть в городе том сад — всё травы да цветы...».

Здесь камешек из туфельки вытряхиваешь ты!
Сиренью пахнут волосы и кожа миндалям,
а мы с тобой скамеечку заняли вдвоём.
И ничего, что мокрая. И ничего, что май.

«Здравствуй, моя Мурка! Здравствуй и прощай!..»

* * *

Лодочка моя, Ассоль, скорлупка остроносая!
Мой кораблик тонущий — сорваны все снасти!
На твоих ладонях удивительная лоция —
наши встречи, линии, перекрёстки страсти.
Что же ты по городу ночному шла отважная,
как фелюга хрупкая, одна в бушующей пучине?
Парусина платья всё ещё на стуле влажная —
то ли думала ты так серьёзно о мужчине,
что стоял в автобусе, то ли дождь накрапывал.
Посмотри, какая нынче штормовая сводка —
корабли переворачивает времени девятый вал.
Девочка моя, Ассоль, спасательная лодка!

* * *

В окошке ночь. Антоновка в тазах.
Скребётся мышь в углу под половицей,
и пахнет дом рассыпанной корицей.
Я для тебя, как сумрачный казах,
пою о чём-то диком. Ты — Луна.
Ты — Облако. Ты — Ветер в поднебесье.
Я где-то на земле, и, знаешь, весь я
к тебе тянусь. А в трещинах стена
напоминает карту — острова
с кокосами на пальмах (Туамоту?).
Но завтра, завтра... снова на работу —
тебе учить, а мне слова, слова,
слова склонять. И кажется, теперь
мы только и свободны... Ветер воет
в печной трубе и замечает: двое
сплелись в одно. О, многоногий зверь!

* * *

Мы с тобой на кухне сядем,
в кружки водку разольём.
Этим горьким общим ядом
траванёмся. А потом
закусь венская колбаска,
закусь белый нарезной.
Дорогая, как савраска,
уставая, тормозной
оставайся в этот вечер —
будем слушать русский рок,
говорить немного резче:
«Слышишь, клёвый вечерок!»
Что на самом деле значит:
«Страшно мне, но я с тобой!»
Агузарова заплачет,
взовет Кинчев молодой.

* * *

Мы вдоль залива
шли вдвоём, где камни
меж сосен выбирают на берег.
Песок пружинил мягко под ногами.
Банальное открытие Америк
я совершил, рифмуя «Ежевикой
и нежной Анжеликой»... Нас упруго
опутывал сетями многоликий
асфальтовый паук Санкт-Петербурга.
А между тем, смеялась над привычкой
всё рифмовать она, изнемогая.
Листва неслась вослед за электричкой,
но проводов эстетика тугая
напоминала нервы — жизнь, как мячик,
неточный, баскетбольный, улетала
за поле, за пустырь, за... — Милый мальчик,
тебя я не люблю, — она сказала.

* * *

Мне надоели сны моих полночных бдений,
и монитор Samsung, и бред черновика.
Я одного хотел — наполнить счастьем бедный
уют для долгих зим... Но Боже мой, пока
едва горит свеча моей убогой жизни,
и, как слепой щенок у запертых дверей,
душа скулит навзрыд, бросая укоризны
тебе, тебе, тебе: «О, помоги скорей
мне, Боже, как-нибудь, пока сквозь вой метели
шуршит из батарей трамвайное тепло!»
А Библия лежит на скомканной постели.
А трещина двоит оконное стекло.

* * *

Меня схватила за руку и злым
шепнула басом: «Знаю, все похожи
мужчины — все козлы, все-все козлы!»
И мокрый плащ повесив свой в прихожей,
вошла, скривила раной ножевой
красивый рот, давясь, давясь слезами.
В окне широком шелест дождевой
усилился. Но что-то между нами
происходило странное. Она
рассеянно мобильник теребила.
Кусала губы. Встала у окна.
И вдруг я понял: только что решила
на тротуар с шестого этажа
бросаться вниз... «Ну-ну, поплачь!» —
утешить
её пытался. Плакала, дрожа.
Потом сидела бледная, как нежить.
И наконец сказала мне: «Ушёл
сегодня муж». Молчание. Усталость.
Я наливал. Она пила. Ещё
пила коньяк...
...А небо прояснилось.

* * *

Я слышал, как луч постучал в окно,
прополз по стене и упал на стол.
Понятно, что луч позабыл давно,
зачем и куда по делам пришёл.

Он влез по стакану, отпил воды.
Потом ослепил, на диван прилёг.
Казалось, что нет никакой беды —
я книгу держал, но не видел строк

о Боге, о разных его делах.
А луч фотографию взял твою.
Откуда берутся любовь и страх?
Я просто, как небо, тебя люблю.

* * *

В расписание вписаны наши судьбы.
Ветер-стрелочник смотрит его странички:
в десять двадцать сольются сухие губы!..
Километры меж нами короче спички,
не длиннее, чем ниточка, — приметал бы
пару пуговиц крепко к твоей сорочке!

Сорок раз ещё встретимся мы до свадьбы —
тридцать девять расстанемся. Ставить точки
рановато. Шушарочка, ты — хозяйка
безрассудному сердцу! Прими на счастье
и баюкай...

...Курьерский. Соседа байка
про бандитов чеченских: — Порвут на части!..
...Цепь на шее рассказчика золотая.
Как рояля клавиши, мчатся шпалы,
и берёзы, стремительно улетаю,
горизонт обнимают тревожно-алый...

Двадцать пять сантиметров на карте. Двое
суток в поезде нас разделяет или
сорок семь через реки мостов — простое
вычисление скажет: мы всё забыли.
Но пока мониторы горят и в рёбра
бьют сердечные мышцы, мы будем сниться
по ночам друг другу — факир и кобра,
Магомет и гора, небеса и птица
Гамаюн...

...И чаёк заварился. Масса
темноты. Под грохот колёс не спится.
Скоро встретимся — скоро снимать с матраса
мне бельишко: — Спасибо вам, проводница!

* * *

Мне снится музыка: то скрипки голос нервный,
то нежный флейты, то ещё вступают трубы...
Я просыпаюсь, нахожу губами губы
твои. Ты крепко спишь. Следят за этой сценой
на узкой полочке растрёпанные мишки,
смешные, плюшевые, с грустными глазами.
Метель. Рассвет. Окно украшено цветами.
Олейников, Бодлер, Фет, Баратынский — книжки
повсюду: на полу, на стуле, на постели.
Спи! Вместе целый год Изольду и Тристана
изображали. Спи! Не просыпайся рано!
Играет музыка расхристанной метели
там, за пустым окном, — то скрипки, то гобой.
О, нежная моя, пока стоят игрушки
на полочке, пусть голова твоя с подушки
немного съехала на платье голубое.

* * *

Ангел мой, со двора густая
синева ворвалась в окно:
то весну там собачья стая
отмечает, а то вино
распивают подростки, чтобы
веселей зазывать подруг.
Как же быстро уходят годы —
каждый замкнут. О, страшный круг!
Даже в звёздах его зелёных
ясно виден холодный рок:
«Ходит окунь в речных затонах,
отражается костерок...».
Что же, сыпь — да побольше — проса
к подоконнику голубям.
Отодвинь костыли — не бойся, —
если надо, потом подам!
Ну, а там ты окрепнешь — смотришь,
и пойдёшь тем шажком былым.
Это счастье, да-да, всего лишь.
Сердце бьётся: «Тум-тум, дым-дым».

* * *

Весь твой мир уместился в окне монитора
(тяжелы костыли, неудобно на стуле —
хорошо, что задёрнута пыльная штора!) —
на экране летают ковбойские пули.

Кровь течёт, как томатный, наперченный соус,
а на улице — слышишь? — на узких балконах
все коты, словно в опере, пробуют голос.
На бетонных бельё парусит галеонах.

Что осталось? Обида на промысел Божий,
как природа, слепой и бездушный — ни мужа,
ни детей... Шуршалотта, сегодня ты всё же
обопрись на меня, моя девочка, ну же!

* * *

Не врут гороскопы — мы точно не пара.
Но в сердце бушует стихия пожара.
Мы — серые тени в театре теней,
мы — ветер под гулками сводами арки...
Тяжёлые шторы сдвигаю плотней:
Шуршалочка, птицы орудуют в парке,
и тают сугробы, но ты на диване
болеешь, читаешь весь день Мураками.
Мой ангел, запей-ка скорей терафлю!
Ну-ну... Ничего, что распух так нелепо
твой нос, — не грусти: и такую люблю,
как землю, как море, как звёздное небо,
больную, хромую, смешную, любую!..
Колени твои в темноте поцелую:
«Шушара, ты выпьешь сегодня, скажи,
ромашку от этой проклятой простуды?..»
В углу синий свет монитора LG,
объятия жадные, жаркие губы!

* * *

На простом языке говорившая страсть
кровь мою бередила густую-густую.
Потому, что и Сольвейг — твоя ипостась,
я безмолвные губы твои поцелую.

Шуршалотта, Шуршалочка, белая мышь!
Колченогая девочка в пьяной хрущобе,
я уеду. Безудержно капает с крыши,
и мяучит кошачья разборка — ещё бы!

Крутобокие тушки сазана, сома
дешевеют, и, сняв кацавейку в заплатах,
ты стоишь с костылями на фоне окна,
подоконник слезами от счастья закапав.

* * *

Сны. Душный потолок. Снега. Дорога.
И пассажиров заспанные лица.
«Люблю тебя! Да-да!» — колёса пели.
Твои слова сквозь ночь со мной летели:
«Не уезжай, Медведик мой, надолго!»
Ведром железным мимо проводница
носила уголь. А сосед джин-тоник
пил в темноте (купил в Рязани где-то).
На верхней боковой у туалета
вторые сутки лёжа, как покойник,
я думал о тебе: морщинках этих,
сосках, ложбинках, детях, что могли бы
у нас... у нас... Но прыгала на петлях
и грохотала дверь, а в окнах глыбы
пакгаузов летели. Проводница,
ругаясь, подметала что-то шваброй.
Казалась речь её абракадаброй.
А ты мне, наконец, смогла присниться.

* * *

Ты — серебристый ландыш
в прохладной тени берёзовой рощи.
Имя твоё — сильное снадобье от печали.
Адората, возьми себе узкие крылья ветра!
«Люблю. Буду любить. Твой навеки».

Лето. Полёт стрекозы. Стук дятла.
Вкус листвы на твоих губах...

В нашей крови растворён
подслеповатый страх предков,
их надежды, печали, редкие радости.
Муравей ползёт по твоему плечу,
как паломник в святые места.

Имя твоё — сильное снадобье от печали:
Давид, Иисус, Марфа, Мария...

Адората...
На высоком перевале,
меж двух белоснежных гор,
мирно покоится
твой золотой византийский крестик...
Слушай счёт кукушки,
пение иволги, шелесты, вздохи...

Имя твоё — сильное снадобье от печали...

МЕЖДУ ХЛЕБОМ И НЕБОМ

* * *

Ты — молния в небе моих надежд.
Ты — ангел в небе моих молитв.
Когда я лишаю тебя одежд,
огромная нежность во мне болит.

О, в этой ласковой суете
белеет кожа, как свежий снег,
и, утопая в нём, в темноте
я слышу свой уходящий век
и жизнь у ангела в животе.

Тёплый ветер. Вечерние, розовые облака.
Словно тени на шёлке, качаются камыши.
Меж холмов извивается задумчивая река.
Так живи, так думай, так на земле дыши.

После будет совсем другая, наверно, боль
и другая радость: искал — не нашёл нигде.
Звон цикады, песок на губах и речная соль,
и бегут круги по тёмной, живой воде.

Поплывёшь, забудешь, всё потеряешь, нет,
улетишь на крыльях в доверчивый небосвод.
Ветер листья ласкает, горный струится свет.
Человек уходит, и птица в кустах поёт.

* * *

Небосвод за окнами синий-синий.
— Рот откройте, деточка! Потерпите!..
Бормашина. Бешеный визг Эринний.
Всё известно доктору о пульпите —

по кювете никелем звякнут клещи.
Металлурга прочная заготовка
эта челюсть... — Доктор, прошу, полегче!..
Как плотва на удочке, бьюсь неловко —

крюк во рту... Но что-то в крови и гное
показали чёрное: бедный, вот, мол,
успокойся, это твоё земное
воплощенье — душу никто не отнял.

* * *

Человеку сквозь зубы прохожие cedят: «Убью слона!
Прёшь, как падла!» Покупки, целлофановые мешки,
бесконечные годы реформы, магазины, кафе, страна..
Тётка кричит безумно: «Пирожки, пирожки, пирожки!»

Человек спотыкается, падает, ударяется об асфальт.
Кровь стекает с разбитых губ и куртка, увы, в грязи.
Точно так же в Афинах лежал на площади Эфиальт.
Никто не подходит близко, но кто-то кричит «ползи».

И тогда он ползёт, ползёт в направлении парадняка,
но на деле лишь приближается к последней черте.
Он пока ещё дышит, и что-то хрипит, и плачет пока.
Но реформы делают боги в космической темноте.
Человек умирает, и сжимает паспорт его рука.

* * *

Висит сырой листок: «Гадаю по руке
и на кофейной гушц...». Под бледно-серым небом
у входа в блочный дом сижу на рюкзаке
с китайским барахлом — дешёвым ширпотребом.

Мне снится эта жизнь — стальная дверь, мороз,
разбитое стекло, рука в крови... Я видел,
что будет после нас: небесный купорос,
распад, бетон... Я здесь случайный посетитель!

Исчезнет всё: дома, газеты, барахло
китайское. — Продать? Никто не купит. Скверно...
Бетон, асфальт, мороз, разбитое стекло,
рука в крови... Я здесь лишь коротаю время!..
...Лишь коротаю время!..

* * *

Все там будем поздно или рано:
тухлая, застойная вода —
в коридоре пили из-под крана.
Что ещё мы делали? Ах, да,
до животной крупной-крупной дрожи
капельниц боялись — пригласят,
руку стянут: «Потерпи. Поможет
галоперидол». Вот этот ад
мне обычно снится. Просыпаюсь,
долго рядом шарю в темноте,
к женщине красивой прикасаюсь,
обнимаю, слышу в животе
тихое урчание, целую.
Пялится звезда в стеклопакет,
дождь стучит в отлив о жестяную
полосу. Всё кончено. Рассвет.

* * *

Побрякушки, носки, сковородки
продают у метро. Приглядишь:
жизнь проходит — у смерти короткий
разговор и алмазная высь.

Бесконечно далёкая птица
Лебедь, Рыбы, Змея, Скорпион...
Люди спорят, хотят прицениться,
пьют, едят, и пищит телефон.

Молодуха в киоске с цветами
подсчитает свои барыши...
Вот и всё... Только высь между нами!
Не толкайся, не плачь, не дыши!

* * *

Жить не страшно — только очень больно!
Всё понятно: смерть, любовь и муки
творчества в квартире с антресольной
пылью окончательной разлуки.

Смерти ли бояться, если сгинет
вся Земля?.. Выносят прочь герани,
шкаф, альбом, где несколько с другими
фотографий свадебных на грани
пошлости... А счастье было... было
на какой не знаю почве в доме,
где жена, наверное, любила
мужа, как... Но есть ли что-то кроме
этой жизни, временем в осколки
превращённой? Будет эта рана
жечь и жечь: герани, кресло, полки...
Верить больно!.. А не верить странно!

* * *

Ты скажешь мне, что Бога нет,
а я скажу, что, да,
нет, и проносится ни свет
ни тьма туда-сюда.

Туда-сюда, от фонаря
до фонаря, где снег
летит в сугробы января.
— О, разве человек

Здесь будет счастлив?.. — Никогда!..
Фонарный свет, как ртуть.
Ты скажешь: «Бога нет!» Ну да!
Но что-то есть чуть-чуть?

* * *

От коньяка пьяна Лариса лишь слегка,
а мы совсем трезвы — трезвы, как на параде!
Сидим в пустом кафе — три старых дурака:
— А помнишь, ты писал в клеёнчатой тетради?..
— Да брось, Володя! Я забыл про ерунду!..
— Нет, разве ерунда? — волнуется Лариса.
— Не всё ли нам равно? Давайте за еду! —
и вилочкой в салат: лучок, немного риса,
креветки a la gusse... Игра не удалась.
Как пылесосы Bosch, свободны мы в полёте,
и Бог глядит на нас, как в омут водолаз.
Нет, словно террорист в горящем самолёте!

* * *

Смерть становится ближе, чем собственная рука,
но по-прежнему неизвестно, что ожидает после.
В городе снова весна. Над парком плывут облака.
Грубый профиль мента не похож на рисунок Бёрдсли.
Да и сам я нынче что-то не очень изящен, как
старый тополь, обломанный весь и полужасохший.
Если поселить меня куда-нибудь на чердак,
то подумают сразу, что бомж, бородой заросший.
И куда же меня отправят такого потом? Куда?
Может быть, ни Рая нет, ни Ада для сумасшедших,
у которых под глазами мешки и включена борода,
и не знает смерть, как их выпроводить, не туда зашедших.

* * *

Хаос, летящий из глубины небесной,
звёздная пыль на листе обомлевшем
бледной осины, застывшей над бездной...
Чем вас утешить? Да в общем-то, нечем!

Где-то карболкой и йодом больница
пахнет в предчувствии гибели нашей.
Крикнет неистово странная птица,
замороженная сумрачной чашей.

Вы и на смертном одре удивитесь:
сколько ещё остаётся вопросов!
Дуб у ограды, как сумрачный витязь,
тополь, как скорбный немецкий философ.

Вам и цветы — возвращается почве
тот, кто при жизни был каплей в потоке.
Счастья хотели? Но воздух отточий,
клейма простынь и ж-ж-железные койки.

* * *

Я сам — нелепый червячок,
а космос так велик!
Летит сквозь крохотный зрачок
мне на сетчатку блик.

Как в узком карцере штрафник,
в ней дух томится, но
к зрачку я так внутри приник,
что понял всё давно:

весёлый гомон вешних птиц,
широкий шум листвы
и в затхлом сумраке больниц
предсмертный хрип, увы!..

* * *

Жил по счёту кукушки ни много ни мало — как раз
для разгадки вопросов, которые нам задаёт
наше бедное сердце, где, может быть, всё через час
прекратит изменяться, качаться назад и вперёд.

Значит, время настанет и мне от святой простоты
разбирать фотографии, письма ненужные жечь.
За привычным окном пожелтеют деревья, кусты,
и нахмурится небо, прервётся последняя речь.

Ничего не останется — только стихи да ещё
припорошенный холмик с простым деревянным
крестом.

Удивится прохожий, что жить можно так горячо,
и в тревоге подумает: «Как? Покидая свой дом,
неужели я тоже, на облачной живший гряде,
словно листья, скользну в бесконечность
по тёмной воде?»

* * *

Назвали зайчиком, дали сладкую грудь,
привязали бирку на ручку, сказали: «Теперь живи».
Шлёпали, обзывали, приказывали уснуть,
спасали от гепатита, свинки и от первой любви.

Так и прошло... А дальше случилась вот эта жизнь,
эта самая, в которой от одиночества сердце вдруг
то и дело прихватывает, и голос бубнит: «Остынь —
всё равно это всё иллюзия, замкнутый круг».

И лишь на старости лет выясняется, что нет
ничего, кроме одного бесконечного коридора, где
в конце бесконечная тишина, бесконечный свет...

И если что-то и было в этой твоей судьбе,
то лишь девочка у качелей, которую в десять лет
целовал неловко. Ты помнишь? Листик к её губе
почему-то прилип, и смерти, казалось, нет.

* * *

Часы, ботинки и пиджак,
сорочку и бумажник
я покупал не просто так —
я был лихой монтажник.

Я получал за двести рэ
и брал себе в столовке
компот, яичницу, пюре,
салатик из морковки.

Ах, было время да прошло!
Теперь я стал поэтом.
Мне тоже очень хорошо,
но денег нет при этом.

Могу пойти куда хочу,
свободный и голодный.
Как балку, рифму волочу
и текст неоднородный.

И нет на мне ни пиджака,
ни галстука, заметьте.
Хочу — валяю дурака,
плюю на всё на свете:

на двести рэ и на компот,
на то, что коммуналка.
Вполне свободен только тот,
кому себя не жалко!

* * *

Ах, на ёлке звезда золотая.
Кухня. Гости поют: «Йе-йе-йе!..»
(азиатчина мутит блатная —
под гитару «Гоп-стоп»), оливье.

И какого рожна напороли,
напортачили — вспомнить невмочь!
Вышли — трезвые всё ещё, что ли? —
в чумовую беззвёздную ночь.

Потепление. Луги. Газоны
зеленеют уже в январе.
На флэту у какой-то Алёны
на вино по четыреста рэ

добавляли... Гори оно синим,
красным пламенем, наше житьё!
И Марина — красавица в мини —
поднимала за счастье моё...

* * *

Целуешь, глаза прикрывая,
в холодные губы меня.
Какая у нас молодая,
не знавшая горя семья!

Ты — горлинка нежная с веткой
оливковой — Terra! Земля!
Встречай меня песенкой редкой:
«Сюда, Одиссей мой! Ля-ля...»

Но кто там стоит на пороге?
— Пройдёмте-ка с нами!.. — За что?..
С ментовскими лицами боги —
на голое тело пальто!

* * *

Убивали, и лгали, и жён соврашали чужих.
Словом, жили обычно — злодеями так и не стали.

Протечки, квартплата, простуда и курс
валюты — волнуешься, пьёшь корвалола
четырнадцать капель — я тоже боюсь,
что это не жизнь, или жизнь — это школа
спокойствия, полной, тупой глухоты.
В постели тебе от ночной духоты
приснится кошмар: Перестройка и люди
бездомные роются, словно коты,
в помойке у дома в рассыпанной грудке
объедков. О нет же, будильник опять
сигналит!.. Встаёшь, ковыряешь в омлете
ножом и, взглянув на часы Olivetti,
выходишь из дома — в портфеле печать,
квитанции... Злобный на улице ветер
забрался под куртку. Ты видишь: один
из тех в подворотне на смятой газете
лежит — существо человеческий сын.

* * *

Ночь бесполезно-опасно-тревожно-безумная.
Ночь фиолетово-тёмная, жуткая, лунная...
Нет ничего. Только колет под ложечкой страх.
Полные пригоршни звёзд. Голова в облаках.
Кто-то навстречу... «Постой! Не найдёшь огонька?
Хоть “Беломор” от печали...» «Конечно! Да-да...»
Ночь фиолетово-тёмная трепетно-лунная —
в правом кармане тяжёлая гирька латунная.

* * *

В собесе толпятся: «А кто же за вами?»
Дырявые кофты, очки, костыли..
Старухи привычными, злыми словами
опять объясняют, что с этой земли

масоны, которые были жидами,
всех русских под корень давно извели.

Инспектор — красивая девушка — кольца,
колготки Sisi и высокий каблук..
«Вы тоже на пенсии? Хи-хи...» — смеётся,
проверить беря документы из рук.
А впрочем, ей вникнуть во всё недосуг...

В глазах зажигается чёрное солнце,
и сердце галопом срывается вдруг!

* * *

В камуфляже стоят с орденами,
под гитару поют: «Ты меня,
моя мама, встречаешь слезами...».
— Нет, ребята, всё это фигня:

«Я особо опасный придурок,
ветеран самой главной войны...».
Пропустили по кругу окурков
одноногие те братаны

и спросили: — Ты был на Чеченской?
Что ты знаешь, дурак, про Кавказ?..
Отвечал я улыбочкой зверской,
нежно-розовой справочкой тряс!

* * *

Сладкой выпечкой пахнет с ванилью.
К батарее затёкшей спиной
прислонившись, запачкался пылью.
Ночь. Февраль. Парадняк... Боже мой,
Ты оставил меня почему же?
Почему эта заперта дверь?
И с ботинок заляпанных лужи
растеклись по площадке... Не верь
ничему! Укрывай меня дёрном!
Проверяй мой ночной документ!
Пусть хотя бы в стакане гранёном
чай горячий мне вынесут... Нет,
ничего мне не надо, но старый
сон приснится: четыре ведра
огурцов... В ледяные фанфары
непогода трубит до утра.

* * *

В китайский
пурпур тучи над Кронштадтом
закат окрасил — вот она свобода! —
на сваях в бар с кофейным автоматом.
Зашли, замялись радостно у входа,
и сели у окна, и говорили
о счастье жить без горечи и страха.
Кавказцы что-то жарили на гриле,
а мы, мешая ложечками сахар,
в тот вечер свято верили в улыбку.
Всё было чудно как-то и нелепо.
А между тем, почтовую открытку
за окнами вывешивало небо
туда, на горизонт, где океаны
крушили шельфы двух своих Америк.
Но здесь меж сосен виден был песчаный,
дождём и ветром высветленный берег.
.....
Сказала:
— Пух, смешной медведь, не бойся.
Ну да, тоска, и боль, и всё такое.
Но небо, то, что ярче купороса,
зальёт глаза и дух наш успокоит...

СОДЕРЖАНИЕ

* * *

Улыбаясь сквозь слёзы,
я лежу на снегу,
и застыли берёзы:
— Ты влюбился?.. — Угу..

— Так чего ж ты не весел?..
— Ах, и сам я не зна..
Кто-то ватник повесил
на заборе. Зима

пахнет сеном и хлевом,
дым летит из трубы.
Между хлебом и небом
мы в руках у судьбы.

То ли крики вороны,
то ли поезд гремит,
то ли где-то хоронят,
то ли сердце щемит.

Только музыка

«Как набросок беглый редактируешь долго-долго...»	5
«Что-нибудь о любви, о любви...»	6
«На медлительном узком пароме...»	7
«Ты спросишь, друг, меня...»	8
«Платформа “Ленинский проспект”...»	9
«В слезах выбегает хозяйка во двор...»	10
«Гостиный Двор. Бездушная...»	11
«Живёшь — не думаешь о смерти...»	12
«Били автоматами большими...»	13
«На улицах тесно в канун Рождества...»	14
«Тридцать лет ни дома, ни работы...»	15
«Не сделали стихи меня счастливым!..»	16
«Я забыл застегнуть молнию на...»	17
«По карточке войти в бездонный интернет...»	18
«Как фантик, летает душа...»	19
«В кафе под музыку безумную...»	20
«За двенадцать рублей винегретом...»	21
«Над чёрными доками серый проносится дым...»	22
«Памятник. Ужас парящий. Простёрта над площадью...»	23
«Крыши, антенны. А голуби сели на водосток...»	24
«В подземном переходе скрипка...»	25
«Нехитрые пожитки: полукеды...»	26
«Выхожу один я из подъезда...»	27
«Крепкий рюкзак мой потёртый, зелёный...»	28
«Бледное, серое небо китайской провинции...»	29
«Всю ночь составы спешат по рельсам...»	30
«Коричневая пустыня до горизонта...»	31
«Невыносимо жаркий август...»	32
«Зимний дождь...»	33
«Зарезали соседа у подъезда...»	34
«Обыкновенный пьяница из ЖЭКа...»	35
«На пустыре кривое деревце...»	36
«Пускай правители и мытари...»	37

«Вокзал. Киоски. Пыль. И пыль. И пыль...»	38
«Деревянный, купеческий, хулиганский...»	39
«Рвался ветер сквозь большие щели...»	40
«Что своего припомнится: картофель?..»	41
«Я тесные люблю и неудобные...»	42
«Поезд кого-то везёт на Юг...»	43
«Тишина... Я, как дворники в садике...»	44
«Не янтарный мёд, но травы...»	45
«Не сердиться, корвалол принимать, за детей бояться...»	46

СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА

«У моста решето арматуры...»	47
«Ах, какой был июль!.. Ах, какие гуляли...»	48
«Лицо прекрасное, но, может быть, от боли...»	49
«Усмехнулся тополию, всхлипнул, пробежал...»	50
«Лодочка моя, Ассоль, скорлупка остроносая!..»	51
«В окошке ночь. Антоновка в тазах...»	52
«Мы с тобой на кухне сядем...»	53
«Мы вдоль залива...»	54
«Мне надоели сны моих полночных бдений...»	55
«Меня схватила за руку и злым...»	56
«Я слышал, как луч постучал в окно...»	57
«В расписание вписаны наши судьбы...»	58
«Мне снится музыка: то скрипки голос нервный...»	59
«Ангел мой, со двора густая...»	60
«Весь твой мир уместился в окне монитора...»	61
«Не врут гороскопы — мы точно не пара...»	62
«На простом языке говорившая страсть...»	63
«Сны. Душный потолок. Снега. Дорога...»	64
«Ты — серебристый ландыш...»	65
«Ты — молния в небе моих надежд...»	66

МЕЖДУ ХЛЕБОМ И НЕБОМ

«Тёплый ветер. Вечерние, розовые облака...»	67
«Небосвод за окнами синий-синий...»	68
«Человеку сквозь зубы прохожие цедят...»	69
«Висит сырой листок: «Гадаю по руке...»	70
«Все там будем поздно или рано...»	71
«Побрякушки, носки, сковородки...»	72

«Жить не страшно — только очень больно!..»	73
«Ты скажешь мне, что Бога нет...»	74
«От коньяка пьяна Лариса лишь слегка...»	75
«Смерть становится ближе, чем собственная рука...»	76
«Хаос, летящий из глуби небесной...»	77
«Я сам — нелепый червячок...»	78
«Жил по счёту кукушки ни много ни мало...»	79
«Назвали зайчиком, дали сладкую грудь...»	80
«Часы, ботинки и пиджак...»	81
«Ах, на ёлке звезда золотая...»	82
«Целуешь, глаза прикрывая...»	83
«Убивали, и лгали, и жён совращали чужих...»	84
«Ночь бесполезно-опасно-тревожно-безумная...»	85
«В собесе толпятся: “А кто же за вами?”...»	86
«В камуфляже стоят с орденами...»	87
«Сладкой выпечкой пахнет с ванилью...»	88
«В китайский пурпур тучи над Кронштадтом...»	89
«В три этажа домишко. “Бентли”...»	90
«Справедливость... истина... законы...»	91
«Улыбаясь сквозь слёзы...»	92

*Страница в Интернете,
где можно прочитать все стихи автора
и написать ему письмо:
<http://www.stihi.ru/avtor/parias>*

Сергей Анатольевич Николаев
НЕПРОЧНОЕ НЕБО
Стихи 2001–2008 годов

Редактор *А. Машевский*
Художник *А. Дашевский*
Корректор *Л. Брисовская*
Оригинал-макет *А. Левкина*

Издательско-полиграфическая фирма «Реноме»

ISBN 978-5-904045-48-7



Подписано в печать 25.06.2009. Формат 84×108^{1/32}.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 5. Тираж 500 экз.
Заказ № 48-7.

Отпечатано в типографии
издательско-полиграфической фирмы «Реноме»,
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40.
Тел./факс (812) 766-05-66
E-mail: RENOME@comlink.spb.ru
www.renomespb.ru